Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школя №5»

Дальнереченского городского округа

Проект по литературе

на тему

**«Особенности творческого метода Н.В. Гоголя.»**

Выполнила: Гузиева А.Д., ученица 9«А» класса

Научный руководитель: Григорьева Е.В.

учитель русского языка и литературы

Дальнереченск, 2023

**Оглавление**

## Введение………………………..……………………………………………………....……3

## 1. «Авторская исповедь» Гоголя …………………………………………..……..……….4

## 2. «В дорогу! В дорогу!» ……………………………………………………..…..…….….6

## 3. Отсутствие воображения у Гоголя…………………………………………....………..8

## 4. Переплетение творчества Гоголя с реальной жизнью…..………..……….………..10

## 5. Гоголь-глава реализма…………………………………………………….……....…...11

## Заключение…………………………………………………………………………….......14

## Список используемой литературы……………………………………………………....15

## Приложение………………………………………………………………………………..16

**Введение**

Я выбрала данную тему для проектной деятельности, так как считаю, что в наши дни мало кто должным образом знает биографию русских писателей. Мистика, загадки и тайны – это всегда интересно, не так ли? Именно поэтому мне кажется, что жизнь Н.В. Гоголя подойдёт для темы моего исследования. Автор не просто переносит на бумагу народные сказания, но и на основе виденной им реальности создаёт новые, истинно художественные произведения. Чтобы понять сущность мистических мотивов в творчестве прозаика, необходимо проследить их связи с реальностью, которая окружала писателя, обозначить место каждого из двух миров в системе рассматриваемых произведений.

Предмет исследования:

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя.

Гипотеза проекта:

Мистические образы в творчестве писателя связаны с необычными событиями в его жизни.

Цель:

Исследовать причины введения мистической линии в изучаемые произведения, выяснить их ценность для сюжета и содержания.

Задачи:

1. Изучить как можно больше литературы, связанной с тайнами жизни Н.В. Гоголя и в его произведениях;
2. Рассмотреть специфику гоголевских персонажей.

Методы исследования:

1. Работа с литературой.
2. Изучение проблемы.
3. Обобщение и систематизация полученной информации.

## Особенности творчества Гоголя и значение его поэзии для русского самосознания

Творчество писателя составляет такую загадку, разрешить которую вряд ли возможно, в особенности творчество таких сложных и богатых натур, какою был Гоголь.

Разгадать духовную жизнь Гоголя тем более трудно, что он был из тех людей, которые не любят высказываться и не только ревниво берегут про себя свои лучшие стремления и замыслы, но даже подчас мистификаторски отводят глаза от своих истинных целей и взглядов. Эта особенность Гоголя так велика, что даже интимные письма его к близким ему людям не всегда верно определяют его настоящие мысли и получают характер убедительности только тогда, когда по выраженным в них чувствам и мнениям совпадают отчасти с другими заметками Гоголя, отчасти с прямым свидетельством людей, знавших его лично. Но самое верное средство для распознания личности такого скрытного человека, как Гоголь, — это, конечно, подойти к нему в то время, когда он не знает о вашем присутствии и, так сказать, подслушать, что говорит он наедине с собой.

Но где же Гоголь оставался действительно самим собой? Когда можно было бы застать его врасплох и услышать искреннюю и основную ноту его голоса? Я полагаю, что чаще всего он был самим собою в своих произведениях; его колоссальный талант овладевал им безвозвратно и заставлял невольно то тут, то там непосредственно отдаться своему увлечению. Да и сам Гоголь подсказывает нам этот путь, чтоб разгадать загадку. Когда ему было девятнадцать лет, по выходе из Нежинского лицея он писал матери: «Как угодно почитайте меня, но только с настоящего моего поприща вы узнаете настоящий мой характер». Особенно осторожным приходится быть в суждении о невежестве Гоголя, которого хотя нельзя отрицать и нельзя не указать, но которое куда-то исчезает из наших глаз, как только мы вступаем в соприкосновение с его даром проницательности и его поразительным, если можно так выразиться, глазомером жизни. Он сам великолепно осветил этот вопрос о своей безграмотности в повести “Портрет”. Один живописец определяется здесь так: “Это был человек замечательный во многих отношениях. Это был художник, каких мало — одно из тех чуд, которых извергает из своего непочатого лона только одна Русь, художник-самоучка, отыскавший сам в душе своей, без учителей и школы, правила и законы, увлеченный только одною жаждою усовершенствования и шедший, по причинам, может быть, неизвестным ему самому, одной только указанной из души дорогою; одно из тех самородных чуд, которых часто современники честят обидным словом └невежи“ и которые, не охлаждаясь от охулений их собственных неудач, получают только новые рвенья и силы и уже далеко в душе своей уходят от тех произведений, за которые получили титло невежи. Высоким внутренним инстинктом почувствовал он присутствие мысли в каждом предмете”. В этих словах многое применимо к самому Гоголю, который в себе самом главным образом и отыскивал и силы, и разные пути для выражения этих сил.

Прежде чем предложить общему вниманию различные стороны его жизни и развития его творчества, я позволю себе сделать одну оговорку. Всем известно, что в характере этого человека было много свойств, неприятно поражавших тех, кто встречался с ним в жизни: и его капризы, и надменность, и навязчивый тон поучения, и хитрость, иногда соединенная с искательством, — все это отталкивало от него очень многих; но я не буду вовсе останавливаться на этих, если хотите, темных чертах Гоголя. Я не буду задаваться вопросом: хороший он был или дурной человек? Правила обычной морали слишком узки, чтобы охватить такое сложное, то больное и подавленное, то в высокой степени воодушевленное существование, какое представляет нам внутренняя жизнь этого своеобразного человека. Я стремлюсь не ценить его нравственность, а только попробовать разъяснить, как шло развитие Гоголя и какие приемы творчества обнаружил он в связи с своею личностью.

Есть, к счастью, один документ, который внушает к себе во многих отношениях серьезное доверие для суждения о развитии Гоголя как писателя. Этот документ — его собственная “Авторская исповедь”. Он внушает доверие, потому что верность сведений, рассказанных здесь, подтверждается многими лицами, знавшими Гоголя, и его собственной заметкой в письме к Плетневу (10 июня 1847 года), где об этой исповеди он пишет: “Молю только Бога, чтобы Он дал мне силы изложить все просто и правдиво”. В этой “Авторской исповеди” есть одно ценное замечание: “От ранней юности,— пишет Гоголь,— у меня была *одна дорога,*по которой иду. Я был только скрытен, потому что не был глуп — вот и все”. Этим замечанием Гоголь уничтожает предположения о каком-нибудь повороте в его личном развитии, который нередко видят в его “Переписке с друзьями”.

Правда ли в самом деле, что Гоголь оставался верен себе даже и в последней части своей жизни? Попробуем проследить это по имеющимся у нас сведениям об его жизни. Сосредоточим сначала наше внимание на его болезненной мечтательности, религиозности и грусти, оставляя пока в стороне его реальные стремления. С каких лет становятся заметны в нем эти свойства, отличавшие его в зрелом возрасте? Начнем с детства. Нам всем известно, что в юности и ранней молодости это был человек неудержимой веселости. И это было действительно так; так казалось всем, так казалось временами иему самому, но посмотрите, что скрывалось за этой бодростью. Ребенком он уже мог иногда слышать какие-то странные голоса, неизвестно откуда исходившие и называвшие его по имени; эти голоса действовали на него потрясающе. В повести “Старосветские помещики” он вспоминает об этом. “Признаюсь, мне всегда был страшен этот таинственный зов. Я помню, что в детстве я часто его слышал: иногда вдруг кто-то явственно произносил мое имя. День обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный; ни один лист в саду на дереве не шевелился; тишина была мертвая… Я обыкновенно тогда бежал с величайшим страхом и занимавшимся дыханием из сада и тогда только успокоивался, когда попадался мне навстречу какой-нибудь человек, вид которого изгонял эту страшную сердечную пустыню”. Если такие случаи, захватывавшие ребенка, и не были так часты, как он сам об этом говорит, то они во всяком случае не доказывают уже и в этом возрасте большой жизненной бодрости в мальчике, а скорее непомерное развитие воображения, подавляющим образом действовавшего на, по-видимому, слабый организм.

Много писалось и говорилось в свое время о высокомерном ханжестве Гоголя, обнаружившемся неожиданно для всех с изданием его переписки, но материалы для его биографии, с тех пор собранные и изданные, с очевидностью убеждают, что пророческий и требовательный тон в вопросах нравственности для него самого был вовсе не новость. Перечитайте его письма к родным, к матери и сестрам, с которыми и в молодости он чувствовал себя не стесненным, как с теми высокопоставленными лицами (с которыми он перестал стесняться только впоследствии), перечитайте — и перед вами предстанет любопытная картина как раз тех противоречивых настроений, которые внезапно для всех обнаружились под конец его жизни. Эти настроения именно не образовались, а только обнаружились к этому времени, потому что существовали и раньше, но оставались интимною тайной самого писателя. В этих ранних своих письмах к родным, особенно к матери, он или осыпает их страшно свысока своими наставлениями, то на религиозной, то на житейской подкладке, и доходит иногда даже до того, что рекомендует им читать только свои письма и ничего более, или, тронутый их возражениями, с неподдельною грустью и даже некоторым самобичеванием стремится загладить нанесенную обиду. Да притом эта наклонность к грусти вообще стала проявляться в нем еще в ранней молодости. Правда, семнадцатилетним юношей он пишет матери: “Часто в часы задумчивости, когда другим казался я печальным, когда они видели или хотели видеть во мне признаки сантиментальной мечтательности, я *разгадывал науку веселой, счастливой жизни,*удивлялся, как люди, жадные счастья, немедленно убегают от него, встретившись с ним”. Но при всем этом он же сам в “Авторской исповеди” вспоминает: “Причина той веселости, которую заметили в первых сочинениях моих, показавшихся в печати, заключалась в некоторой душевной потребности. *На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая происходила, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать себя самого,*я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать…”

Да он и не избег этих печальных нот даже в тех произведениях своей молодости, неудержимая и совершенно непринужденная веселость которых остается поразительна и до настоящего времени, и любопытно, что грустные замечания в этих его повестях все представляют не частность, а широкое и яркое пессимистическое обобщение, бросающее свет на некоторые черты основного миросозерцания человека. Хотя в повести об Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче он сыплет один за другим неподражаемые повседневные анекдоты из захолустной жизни, но заканчивает повесть так, как никогда не закончил бы ее вполне жизнерадостный человек: “Опять то же поле, местами изрытое, черное, местами зеленеющее, мокрые галки и вороны, однообразный дождь, слезливое без просвету небо… Скучно на этом свете, господа!”

Гоголь отказывается считать себя мечтателем. Но так ли это было в действительности? Отчего Гоголь так любит легенду? старинное красивое и страшное предание? Зачем он так ярко описал майскую ночь и хоровод русалок, играющих в коршуны при лунном сиянии? Откуда он выкопал своего “Вия” и всю кучу страшных видений, сопровождающих этот рассказ? Отчего он заинтересовался в “Страшной мести” фантазией о гигантском всаднике, который “страшною рукою” ухватил колдуна и поднял его на воздух над бездонною пропастью в Карпатских горах? Припомним, кстати, как залюбовался Гоголь сном “бедного сына пустыни” и какая поэтическая греза нарождения христианства возникла перед его мечтательным и проникающим вдаль взором. Я не буду уже говорить об его увлечении героическою жизнью, какую вы найдете в повести “Тарас Бульба”.

Для того, чтобы еще более убедиться в живой склонности Гоголя к мечте, нам стоит только отправиться с ним за границу и посмотреть, как он проводит там время. Мы можем делать эти наблюдения, пробегая глазами страницы повести “Рим”, в которой люди, знавшие его лично, и в их числе Анненков 5), очень тонко понимавший Гоголя, видят много автобиографического. В этом неоконченном отрывке, рассказывающем о том, как римский князь переживает впечатления и от природы Италии, и от созданий ее искусства — храмов, дворцов и картин, Гоголь невольно выдает свои собственные чувства, испытанные на тех же местах и по тем же поводам. “В Генуе князь вспомнил, что он уже много лет не был в церкви… Тихо вошел он и стал в молчании на колени у великолепных мраморных колонн и долго молился, сам не зная за что… О! сколько чувств тогда столпилось разом в его груди!..”

Мечты с особенною силою овладевали князем при созерцании какого-нибудь дивного итальянского пейзажа, начинающего темнеть и покрываться сумраком в последние минуты вечера. Вот как описывается этот князь, в один из подобных моментов любующийся с холма Римом при наступлении вечера: “Солнце опускалось ниже к земле; румянее и жарче стал блеск его на всей архитектурной массе; еще живей и ближе сделался город, еще темней зачернели пинны; еще голубее и фосфорнее стали горы; еще торжественней и лучше готовый погаснуть небесный воздух… Боже! какой вид! Князь, объятый им, позабыл и себя, и красоту Аннунциаты, и таинственную судьбу своего народа, и все, что ни есть на свете”.

Анненков, живший с Гоголем в Риме, не раз видал, как он по полусуткам, лежа на аркаде старинного римского водопровода, смотрел в голубое небо или на мертвую и великолепную римскую Кампанью; иногда он целые часы проводил среди густой растительности, где-нибудь в чаще, и оттуда устремлял “*зоркие, недвижимые глаза*в темную зелень, купами сбегавшую по скалам, и оставался *недвижим целые часы, с воспаленными щеками*”*.*О чем он в это время думал? Уж не жил ли он это время теми же мечтами, как его римский князь? Можно думать, что его южная, пламенная фантазия не раз среди этих созерцаний заставляла его видеть не те предметы, в которые вперял он свой взор, а какие-нибудь свои собственные золотые сны и что в эти минуты он мог сказать вместе с автором “Фауста”:

И вновь действительность темнеет предо мной,

И снова я живу любимою мечтой 6).

Недаром Гоголь так любил готическую архитектуру, недаром он своим курсом лекций по истории выбрал не что другое, как средние века.

Итак, способность отрываться от действительности, уноситься в собственные грезы и отдаваться своим думам с жаром и страстью — коренная черта этого знаменитого нашего реалиста. Она составляла благодарную почву для того, чтобы постепенно и безвозвратно отдаться распаленному воображению упорного и нетерпимого сектанта. “Итак, после долгих лет и трудов, и опытов, и размышлений, идя видимо вперед, — пишет Гоголь, — *я пришел к тому, о чем уже помышлял во время моего детства*”. Эта постепенность увлечения Гоголя вопросами узкой морали отмечена была русской критикой еще до появления “Переписки с друзьями”.

Как любил Гоголь свое дарованье, как благоговел перед ним, лучше всего видно из нескольких трогательных слов его, написанных в молодости, во время полного расцвета этого дарованья. Вот что писал он тогда, обращаясь к своему гению. “О, не разлучайся со мною! живи на земле со мною хотя два часа каждый день, как прекрасный брат мой! Я совершу! Я совершу! Жизнь кипит во мне. Труды мои будут вдохновенны. Над ними будет веять недоступное земле божество. Я совершу! о, поцелуй и благослови меня!”

Но если совсем неновые для него мистические идеи все более убеждали его все-таки совершить этот разрыв с его дарованьем, то и само дарованье под конец его жизни начинало ослабевать; и это ослабление своей впечатлительности он заметил уже в первом томе “Мертвых душ”. Он пишет здесь: “Прежде, давно, в те лета моей юности, в лета невозвратно мелькнувшего моего детства, мне было весело подъезжать в первый раз к знакомому месту; все равно, была ли то деревушка, бедный уездный городишко, село ли, слободка — любопытного много открывал в нем детский любопытный взгляд”. Охарактеризовав тут же свежесть тогдашнего своего воображения, он продолжает: “Теперь равнодушно подъезжаю ко всякой незнакомой деревне и равнодушно гляжу на пошлую наружность; моему охлажденному взору неприютно, мне не смешно, и то, что пробудило бы в прежние годы живое движенье в лице, смех и немолчные речи, скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранит мои недвижные уста. О, моя юность! о, моя свежесть!..” Это были для него первые предчувствия, которые давали ему уже понять приближение печальной развязки.

“Я старался,— пишет он уже в 1826 году, — действовать наперекор обстоятельствам и этому порядку, не от меня начертанному. “*Я* *пробовал несколько раз писать по-прежнему, как писал в молодости, то есть как попало, куда ни поведет перо мое*;но ничто не лилось на бумагу. Усилия мои, — пишет он в «Авторской исповеди»,— оканчивались почти всегда болезнью, страданиями и, наконец, такими припадками, вследствие которых нужно было надолго отложить всякое занятое. Что мне было делать? Виноват я разве был в том… *как будто две весны бывают в возрасте человеческом!*”

Он чувствовал очень хорошо, что под ним разверзается бездна, и мог только с отчаянием кричать о помощи, которой ему никто не в силах был оказать, он слышал только неожиданно для себя со всех сторон осуждение и негодование на последнее, что вышло из-под его пера. В последней главе “Записок сумасшедшего” Поприщин пишет: “Нет, я больше не имею сил терпеть… Боже! что они делают со мной!.. *Они не внимают, не видят, не слушают меня!*Что хотят они от меня, бедного? Что могу дать я им? Я ничего не имею… *Спасите меня! возьмите меня!..*Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего… Вон небо клубится передо мною; звездочка мелькает вдали; лес несется с темными деревьями и месяцем; с одной стороны море, с другой Италия; вон и русские избы виднеются. Дом ли то мой синеет вдали? Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына!.. *Ему нет места па свете! его гонят!*Матушка, пожалей *о твоем больном дитятке”.*

В этой мольбе действительно может чудиться что-то родственное самому автору. Да и отчего в самом деле мелкий канцелярский чиновник Поприщин, не выезжавший из Петербурга, этот неудачный претендент на испанский престол, отчего он так удивительно совместил вдруг в своем трагическом порыве и русскую деревню, и милую, дорогую для Гоголя Италию?

Гоголь умер в 1852 году; ближайший повод к его смерти врачи не могли определить. За три дня до смерти он перестал принимать пищу. Он горел и таял от какого-то внутреннего, пожиравшего его огня… Такова трагическая сторона жизни этого необыкновенного человека.

А теперь от этих печальных впечатлений перейдем к тем его свойствам, которые ему в жизни были величайшим счастьем и отрадой, к его способности творчества, перейдем к характеристике его колоссального блестящего таланта. В этом случае мы последуем его собственным словам, сказанным в первом томе “Мертвых душ”: “В дорогу! в дорогу! Прочь набежавшая на чело морщина и строгий сумрак лица! Разом и вдруг окунемся в жизнь, со всей ее беззвучной трескотней и бубенчиками, и посмотрим, что делает Чичиков”.

Если, желая определить талант Гоголя, мы захотим послушать его собственные определения, мы впадем в большие недоумения. Для примера приведу такие два его мнения. В одном месте “Авторской исповеди” он говорит: “Я никогда *ничего не создавал в воображении*и не имел этого свойства. У меня только то и выходило хорошо, что взято было мной из действительности, из данных, мне известных. *Угадывать человека*я мог только тогда, когда мне представлялись самые мельчайшие подробности его внешности. Я никогда не *писал*портрета в смысле простой копии. *Я создавал*портрет, но создавал его *вследствие соображения, а не воображения*”*.*А немного выше пишет, что “*выдумывал целиком*смешные лица и характеры, поставлял их мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего и кому от этого выйдет какая польза”. Правда, последние слова относятся к более ранним его произведениям, они во всяком случае показывают, что способность непринужденной фантазии существовала у него и даже в таких размерах, что, по его собственным словам, многие читатели приводились в “недоумение решить, как могли человеку умному приходить в голову такие глупости”. Куда ж исчезло у Гоголя живое воображение в расцвете его творчества? И как понимать его *я создавал вследствие соображения, а не воображения.*

Чтоб приблизиться к истине в решении этого вопроса, опять-таки не будем верить ему на слово, а начнем наблюдать за ним самим в то время, когда, говоря о других предметах, он случайно проговаривается, сам не замечая этого, о себе; прислушаемся по дороге и к голосу знававших его современников и всмотримся внимательнее в его созданья. Приступая же к подобным очным ставкам мнений и чувств человеческих, будем иметь в виду, что нет на свете такого творчества, которое не сочеталось бы из постоянно переходящей одна в другую работы мысли и фантазии, и что источником какой-нибудь богатой фантазии, хотя бы даже и для “Потонувшего колокола” 8), всегда бывает реальный факт. Обратимся сначала к тому периоду его жизни, когда он, так сказать, был на границе между безотчетным весельем молодости и близким переходом уже в более зрелый возраст.

В 1835 году, в то время, когда уже начал готовиться “Ревизор”, Гоголь писал матери: “Литература вовсе *не есть следствие ума, а следствие чувства,*таким самым образом, как музыка и как живопись”. А насколько в это самое время фантазия просто одолевала его, с силой галлюцинации представляя ему против его собственной воли яркие картины, вы можете судить по его письму к Погодину, относящемуся также к этому периоду его жизни. Сообщая в этом письме, что он не может продолжать задуманной комедии по цензурным условиям, Гоголь пишет: “Итак, за комедию я не могу приняться. Примусь за историю, — передо мной движется сцена, шумит аплодисмент, рожи высовываются из лож, из райка, из кресел и оскаливают зубы, и история к черту”. В одном из своих писем этого же периода он замечает, что у него “*сто разных начал и ни одной повести*, ни одного даже отрывка *полного*”, что едва ли могло бы быть у человека без пылкого воображения. А по свидетельству Тихонравова, терпеливо сличавшего всевозможные листы, полулисты, лоскутки, клочки черновиков, оставшихся после Гоголя, это была именно его манера писать. “Он писал свои большие произведения не в последовательности глав или сцен, а без всякого порядка”.

А как далеко не единственный образец того, куда могла уносить Гоголя его фантазия, может служить живописная передача жалобы прекрасной полячки в повести “Тарас Бульба” (1842 год). Гоголь пишет, что полячка “отдернула налезавшие на очи длинные волосы косы своей и вся разлилася в жалостливых речах, выговаривая их тихим-тихим голосом, подобно тому как ветер, поднявшись прекрасным вечером, пробежит вдруг по густой чаще приводного тростника: зашелестят, зазвучат и понесутся вдруг унывно-тонкие звуки, и ловит их с непонятною грустью остановившийся путник, не чуя ни погасающего вечера, ни несущихся веселых песен народа, бредущего от полевых работ и жнив, ни отдаленного тарахтанья где-то проезжающей телеги”. Пробегая глазами эти строки, невольно ставишь себе вопрос: каким же путем, как не полетом пламенной фантазии, мог перенестись Гоголь от “тихих жалоб” полячки к “тарахтанью телеги”? Какое соображение может заставить человека прийти к такой неожиданности? Недаром Гоголь, вспоминая впоследствии расцвет своего таланта, говорил, что он писал “подчас как попало, куда ни поведет перо”.

Гоголь постоянно перерабатывал свои создания; да в этом легко убедиться всякому, пробежавши глазами оглавление к его сочинениям, в котором на каждом шагу вы встретите: “первоначальная редакция”, “позднейшая редакция”, “дополнительные главы. Вот что он пишет из Вены в 1840 году: “Я начал чувствовать какую-то бодрость юности… Я почувствовал, что в голове моей шевелятся мысли, как разбуженный рой пчел; *воображение мое становится чутко. О, какая была это радость, если бы ты знал!*Сюжет, который в последнее время лениво держал я в голове своей, не осмеливаясь даже приниматься за него, развернулся передо мною в величии таком, что все во мне почувствовало *сладкий трепет, и я, позабывши все, переселился вдруг в тот мир,*в котором давно не бывал, и в ту же минуту засел за работу, позабыв, что это вовсе не годилось во время пития вод, и именно тут-то *требовалось спокойствие головы и мыслей”.*Видно, прежний пасечник Рудый Панько не забыл своей привычки — “вечно вкинуть во что-нибудь новенькое”.

Как бы то ни было, впрочем, Гоголь был прав и тогда, когда говорил об участии соображения в его творчестве, и стоит рассмотреть, на что направлялись эти его соображения. По воспоминаниям Берга, Гоголь давал ему такие советы в приемах сочинения: “Сначала нужно набросать все как придется, хотя бы плохо, водянисто, но решительно все и забыть об этой тетради. Потом через месяц, через два, иногда и более (это скажется само собою) достать написанное и перечитать; вы увидите, что многое не так, много лишнего, а кое-чего недостает. Сделайте поправки и заметки на полях — и снова забросьте тетрадь. При новом пересмотре ее — новые заметки на полях, и где не хватит места — взять отдельный клочок и приклеить сбоку. Когда все будет таким образом написано, возьмите и перепишите тетрадь собственноручно. Тут *сами собой явятся новые озарения*, урезы, добавки, очищения слога. И опять положите тетрадку. Путешествуйте, развлекайтесь, не делайте ничего или хоть пишите другое. Придет час, вспомнится заброшенная тетрадь: возьмите, перечитайте, поправьте тем же способом и, когда будет снова измарана, перепишите ее собственноручно”.

Так, давая советы знакомому, Гоголь раскрыл нам приемы собственной работы. Это совершенно приемы живописца. Вы представьте себе художника в его мастерской. Вся комната его наполнена этюдами; эти этюды приколоты к стене, развешаны на печке, валяются на полу и на диване. Тут вы найдете и угол избы, и солнечный закат, и напряженный мускул человека, и движение человеческого лица. Художник стоит перед начатой картиной, которая должна совместить в себе эти разбросанные житейские впечатления, занесенные кое-как на лоскутки полотна. Иногда в раздумье он разглядывает свои наброски, а потом подходит к мольберту, кладет на полотно краску в одно место, в другое и, то приближаясь к картине, то отступая от нее на шаг или два, прищуривает один глаз, как бы желая сосредоточиться, и внимательно всматривается в эту картину. Если в эту минуту на его лице мелькнет удовлетворение, то это верный признак, что в картине заиграла жизнь. Художник в эти минуты, конечно, соображает, но соображение его особого свойства: тут есть и способность видеть, чего не видит другой, и страстное стремление, и безотчетное чувство вкуса, и простой глазомер. У Гоголя были также свои этюды, из которых впоследствии он брал тона и цвета, весь колорит своих произведений. Его записная книжка, к счастию сохранившаяся, дает нам отличное собрание таких этюдов. Чего только в ней нет! Тут вы найдете записанными названия птичьих криков, и технические выражения хлебопашества, и ловли голубей; перечень собачьих кличек и примет с замечанием: “о борзых еще не говорено”; названия карт; народные “загибанья”, в смысле обидной остроты; бесконечный список различных блюд, вроде “затируха”, “солодуха” и т. д., характерных для разных сословий; перечисление взяток прокурора и рядом — перечень голохвастовских жеребцов со всеми их приметами; образцы делового языка казенной бумаги; список типичных прозвищ, рядом с горячим отзывом о театре. Тут вы прочтете и внимательное описание народного обычая и обряда, и вопросы Хомякову о крестьянах, или заметку, набросок с натуры под свежим впечатлением, вроде такого: “На горном наклоне повиснула живая картина: купа дерев вместе с избами, прятавшимися под их тенью, пруд, плетень и гать, по которой стучал ехавший воз”. Тут же записаны поговорки, пословицы и крики разносчиков, и, наконец, к ужасу для ваших пуританских чувств, вы здесь споткнетесь на некоторых страницах о меткие, правда, но непечатные слова. Сама жизнь вошла в эту книжку в своей полной и угловатой неприкосновенности. Среди всей этой калейдоскопической пестроты мелькают замечания религиозного характера.

Случалось ли вам как-нибудь на улице, отогнавши на несколько минут личные заботы и тревоги, оторвавшись, так сказать, от самих себя, оглянуться и с свежим вниманием всмотреться в ту фантасмагорию живой и быстрой смены впечатлений, в которой мы ежедневно купаемся? Вот этим воздухом улицы, ее смутным движением, нестройными звуками и быстрым оборотом чувств и толчков веет от записной книжки Гоголя. Временами раскроешь ее, и точно неожиданно распахнулось окно:

И в комнату шум ворвался, —

И благовест ближнего храма,

И говор народа, и стук колеса 11).

Люди, знавшие Гоголя, отмечали его громадную способность всматриваться в жизнь. Тургенев, слушавший его лекции и позднее с ним встречавшийся, говорил, что у Гоголя было “*постоянное проницательное*выражение лица”. Анненков вспоминает *о приросшей к его лицу наблюдательности.*У самого Гоголя вы найдете выражение: *ястребиный взор наблюдателя.*

Он отличался необыкновенным искусством разузнавать и расспрашивать; свой живой материал он собирал повсюду; его письма к родным и знакомым полны вопросов об общих знакомых и даже незнакомых, о том, как они одеваются, проводят время, нет ли у них каких поговорок и тому подобное, и при этом он всегда просит сообщить ему все, до “самой последней букашки”. Он страшно ценил свое собственное непосредственное впечатление от жизни и мало обращал внимания на чужие обобщения. Он удалялся от тех людей, у которых постоянно найдутся готовые определения на разные случаи жизни, и постоянно смеялся над ними, “наоборот, мог проводить целые часы с любым конным заводчиком, с фабрикантом, с мастеровым, излагающим глубочайшие тонкости игры в бабки”. В “Старосветских помещиках” Гоголь невольно высказался об этом в словах: “Я не люблю рассуждений, когда они остаются только рассуждениями”. Посетителей Гоголь боялся как огня и любил такие отношения к людям, которые бы от него ничего не требовали, а сам, “мог брать, что ему нужно было и что стоило этого, полной рукою, не давая сам ничего”. Притом, собирая необходимые ему сведения, он подчас мало задумывался о средствах.

Весь этот пестрый и колоритный житейский материал Гоголь благодаря поразительной способности запомнить каждую мелочь крепко держал в своей голове и широко и умело им пользовался. Его соображения, о которых он упоминает, и были тою внутреннею работой художника, которая состоит гораздо больше из движения образов и чувств, чем из логического, отвлеченного мышления и анализа. Те части его писем, где он упоминает о фактах и не делает собственных определений самого себя, красноречиво говорят о том, что эта действительно так: то он просит приятеля включить в свою повесть какую-нибудь поговорку, неожиданно им услышанную и меткую, то пишет, что он продолжает работать, то есть набрасывать на бумагу хаос, из которого должно произойти создание “Мертвых душ”. Самые рукописи, оставшиеся после Гоголя, доказывают, что его обработка накиданного, часто сгоряча, на бумагу была проявлением тонкого вкуса художника, ненавидевшего пошлость, шарж и фарс и удалявшего из своих первых набросков все, что нарушало его чувство меры, а иногда присоединявшего к уже написанному новые, выхваченные из жизни черты. Это было постоянное стремление написать так, чтобы утвердительно ответить себе самому на вопрос, поставленный в “Мертвых душах”: “И похоже это на правду?” Не будем забывать также, что в повести “Рим” римский князь часто проводил долгие часы, всматриваясь в картины величайших художников, “вперя безмолвный взор и вместе с взором *входя глубже душою в тайны кисти, зрея невидимо в красе душевных помыслов.*Ибо высоко возвышает искусство человека, придавая благородство и красоту чудную движениям души”. Эта его любовь к красоте не замечалась теми его современниками, которые готовы были видеть в нем только анекдотиста и опасного пасквилянта.

Но как бы ни возвышало Гоголя искусство, как ни поднимало оно его выше его слабостей, оно никогда не отрывало его совсем от земли, и чуткое ухо его всегда было раскрыто к малейшим звукам, доносившимся с улицы.

После особенно удачных глав спокойствие Гоголя, сохраняемое им во время диктовки, иногда прорывалось, и он весь отдавался самой шумной веселости. Додиктовавши шестую главу “Мертвых душ”, например, он позвал Анненкова гулять, завернул в глухой переулок, “здесь принялся петь разгульную малороссйскую песню и вдруг пустился просто в пляс и стал вывертывать зонтиком в воздухе такие штуки, что не далее двух минут ручка зонтика осталась у него в руках, а остальное полетело в сторону. Он быстро поднял отломленную часть и продолжал песню”.

Чисто художническое творчество Гоголя выражаюсь иногда и в том, что он способен был вполне переживать со своими героями их комические положения и выходки, сам иногда хохотал в моменты созидания своих повестей и комедий. Эта способность переноситься в выдуманное положение и в воображаемый характер проявлялась у него и в жизни в громадном умении представлять в лицах какого бы то ни было знакомого, незнакомого человека, причем к подражанию всегда присоединялась какая-нибудь тут же выдуманная история, в которой представляемое и угаданное лицо действовало совершенно сообразно со своим характером. Современники его рассказывают множество анекдотов, как этим путем удавалось ему то дразнить, то смешить, то успокоительно действовать на людей. Эта способность делала из него незаменимого чтеца собственных произведений. Тургенев, присутствовавший раз при чтении Гоголем “Ревизора”, передает это воспоминание так: “Он поразил меня чрезвычайной простотой и сдержанностью манеры, какой-то важной и в то же время наивной искренностью, которой словно и дела нет, есть ли тут слушатели и что он думают. Казалось, Гоголь только и заботился о том, как бы вникнуть в предмет, для него самого новый, и как бы вернее передать собственное впечатление. Эффект выходил необычайный, особенно в комических, юмористических метрах; не было возможности не смеяться — хорошим, здоровым смехом; а виновник всей этой потехи продолжал, не смущаясь общей веселостью и как бы внутренно дивясь ей, все более и более погружаться в самое дело, и лишь изредка на губах и около глаз чуть заметно трепетала лукавая усмешка мастера”.

Все эти стороны художественной деятельности он метко схватывал гораздо более непосредственным чувством**,**чем умозаключением.

Способность чувствовать правду и естественность оторвала Гоголя от его фантастических грез юности и выработала из него великого представителя реализма, но его большие запросы на духовную жизнь, его вечное самоуглубление сообщили его реализму особое высокое свойство. Его сочинения не протокол жизни, не страница, записанная в клинике, и не мертвая, хотя и точная, фотография. Он сам замечает, что никогда не писал *простой копии,*а с*оздавал портреты,*а для этого, по его словам, ему “нужно было *угадать человека”.*Раз добытую истину он ревниво берег про себя от лихого глаза: долго созерцал и вынашивал ее в самых тайниках своей души, а когда посещало его вдохновение, он делился с нами этим богатством, оставляя на нем печать своей духовной жизни.

Что касается до того, можно ли назвать Гоголя главой реализма в русской литературе, то об этом много спорят, и, думается мне, спорят потому, что самый вопрос об этом не может быть поставлен. Если смотреть на литературный процесс как на постоянное сложное развитие, в котором каждое явление вырастает естественно из целого ряда сложных предшествующих, то можно ли обособлять какого-нибудь писателя и ставить его во главе других. Тут можно говорить только об одном вопросе: с именем какого автора связалось в глазах большинства русских читателей и писателей представление о реализме? Таким яблоком раздора несомненно в 30-х и 40-х годах был Гоголь, и можно утверждать, что споры о реализме особенно ожесточились с появлением в свет его сочинений, хотя он был не основателем этого направления, а только гениальным продолжателем дела Фонвизина, Грибоедова, Пушкина, а главное — всего роста культурных успехов русского общества.

При всем этом в высшей степени характерна для Гоголя одна его черта: каким бы зорким наблюдателем русских нравов он ни был, он мало интересовался общественными вопросами в той определенной форме, в которой выдвигала их русская жизнь.Гоголь тоже очень мало читал… Отсутствие интереса с его стороны к общественной жизни объясняется не только его личными особенностями, но и просто недостатком знаний, которые могли бы углубить перед ним значение этих вопросов. Как только Гоголь пробует высказываться по этому предмету, сейчас же его речь звучит каким-то нелепым, кричащим диссонансом.

Для того, чтобы получить понятие о наивности суждения Гоголя во всем, что касается социальных отношений, надо прочесть его статью о сословиях в государстве. Из незнания проистекала иногда у него удивительная самоуверенность мнения. Ему ничего не стоило, например, написать: “Во мне живет уверенность, что если я дождусь прочитать план мой, то в глазах Уварова он меня отличит от толпы *вялых*профессоров, которыми набиты университеты”. Ему ничего не стоило с апломбом утверждать, что он напишет многотомную великолепную всеобщую историю, но в этом отношении жизнь жестоко его наказала не многотомной всеобщей историей, а краткой историей его профессуры. Гоголь был, в сущности, человеком посторонним для всего, что имело какое бы то ни было отношение к политике, и прав был, когда называл себя человеком *негосударственным,*но любопытно, как даже и в этих случаях, где он мог идти только ощупью и постоянно спотыкался, любопытно, как спасал его талант наблюдательности к внешнему проявлению жизни, в том числе и общественной. Не принадлежа в действительности ни к славянофилам, ни к западникам и, наверно, не вчитываясь в их полемические статьи, он в то же время необыкновенно искусно уловил типичные черты тогдашней московской и петербургской журналистики, хотя, конечно, редко держал в руках тогдашние периодические издания, только бегло их просматривал и судил почти по одним заглавиям.

Но как бы ни были велики пробелы социального образования Гоголя, сочинениям его суждено было сыграть большую роль в развитии русского самосознания. Когда вы выражаете какую-нибудь общую мысль для подкрепления ее, для ясности ее самой, вы всегда нуждаетесь в конкретном примере. Убедительность и яркость примера много зависит от двух причин: во-первых, от его общепризнанности, а во-вторых, от того, широко или узко вмещает он в себя жизнь. В науке для большей убедительности собирают громадное количество фактов и нередко доказывают мысли итогами статистических вычислений. Но где вы найдете статистику нравов?.. Как подсчитать и какими цифрами выразить душевные движения человека? В области нравственной жизни человека единственным статистическим итогом является пока верный действительности художественный тип: он сразу дает вам и обобщение жизни, и яркий пример. Гоголь и дал нам яркое и совершенно верное изображение распространенного факта, и притом такого, к которому все пригляделись и потому мало замечали; он освежил к этому факту общее внимание, хотя социальный смысл этого факта ему самому оставался неясен. И когда он предложил таким образом русскому обществу посмотреться в зеркало, различные люди отнеслись к этому рассматриванию самих себя различно.

Те, кто знали, “чье мясо кошка съела”, очень досадовали, и “Ревизор” хотя и сильно их взволновал, но не был ими одобрен. Один современник так и объяснил неуспех первого представления, говоря, что не мог же в самом деле вызвать сочувствие спектакль, осмеивающий взяточничество, в такой зрительной зале, где половина публики была *дающей,*а половина *берущей.*

Те, кто не знали, “чье мясо кошка съела”, смотрясь в гоголевское зеркало, простодушно и от души смеялись, узнавая то и дело своих добрых знакомых, но радуясь *только сходству*и не понимая горькой стороны дела.

Наконец, третьи, которых было меньшинство, сейчас же заметили обратную сторону медали и деятельно стали истолковывать себе смысл факта, воспользовавшись той общественной терминологией, которую так метко пустил в оборот Гоголь. На эту всем понятную и для всех убедительную общественную терминологию оперся наш знаменитый критик 40-х годов — Виссарион Григорьевич Белинский, и, твердо ставши на эту первую ступень, созданную Гоголем, он повел русского человека гораздо выше по пути общественного самосознания.

Так сюрпризом для Гоголя случилось, что он, ближе всего стоявший к официальному патриотизму, способствовал своими сочинениями пробуждению иного чувства к родине, сознательного, гораздо более высокого и связанного с теми сведениями, которые шли от нелюбезного ему европейского просвещения. Он неожиданным для себя самого образом поддержал человека, несомненно, не разделявшего его убеждений, известного западника Чаадаева, который как раз в год издания “Ревизора”, в 1836 году, писал: “Я не умею любить свое отечество с закрытыми глазами, с преклоненной головой и с запертыми устами… Я нахожу, что можно быть полезным отечеству только под условием ясно его видеть; я думаю, что прошло время слепых амуров, что теперь мы прежде всего обязаны своему отечеству истиной. Я люблю свое отечество так, как Петр Великий научил меня любить его”. Эти слова Чаадаева очень точно определяют общественное значение Гоголя. Гоголь действительно развязал глаза своим читателям. Но для того, чтобы это сделать, мало было даже таланта; надо было в себе самом заключать устойчивую нравственную личность, чтобы среди всех литературных и нелитературных соблазнов и нападок неуклонно идти по раз угаданному направлению. Надо иметь мужество, чтоб воспользоваться талантом.

Среди самых запутанных и противоречивых странностей характера Гоголя в нем упорно и мощно сохраняло свою неприкосновенность и силу что-то не поддающееся определению, что составляло самую интимную и могучую сторону его существования. Он редко кого пускал в эти свои “святая святых”, производил иногда впечатление загадочного человека, и уже школьные товарищи, мастера в деле прозвищ, называли его Таинственным Карлой. Гоголь знал цену своих сокровенных и высоких поэтических стремлений и очень любил их. В 1835 году он записал: “Мир вам, мои небесные гости, наводившие на меня божественные минуты в моей тесной квартире, близкой к чердаку! Вас никто не знает, вас вновь опускаю на дно моей души!..”

А там, на дне этой души, горел хороший огонек. Там ярко искрился веселый смех, не угасало живое чувство красоты, постоянно теплилось сострадание к людям и неразлучная с ним печаль — это и есть *истинные основания юмора.*

**Список использованной литературы**

1. Анненков Е.И. Гоголь и литературно-общественное движение конца 30-х начала 40-х годов XIX века. Л., 1988.

2. Вайль П., Генис А. Русский бог. Гоголь. М., 1993.

3. Ермилов В.В. Гений Гоголя. М., 1999.

4. Канулова Ф.З. Некоторые особенности реализма Н.В. Гоголя. Томск, 1988.

5. Лазарева А.Н. Духовный опыт Гоголя. М., 1993.

6. Лотман Ю.Мю В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988.

7. Храпченко М.Б. Николай Гоголь: литературный путь. Величие писателя. М., 1984.

8. culture.ru

<https://www.culture.ru> «persons»

9. https://m.vk.com>gogol\_lib

10. https://mybook.ru>author>reviews

**Приложение**

****



